Памяти великаго философа

(ЭДУАРД ГУССЕРЛЬ)

IV

Я привел здѣсь размышленія Нитше, хотя мнѣ с Гуссерлем о Нитше никогда говорить не приходилось; возможно, даже вѣроятно, что Гуссерль мало знал Нитше. И все же его с Нитше, как и с Киргегардом, тѣснѣйшим образом сближала готовность, точнѣе, непреодолимая потребность подойти к тому, что они оба считали сущностью философіи — к началам, истокам, к корням всего. Оба безгранично ввѣрялись разуму, на свой манер осуществляя принцип: « Roma locuta, causa finita ». И, когда разум потребовал отреченія от всего, что мы считали святым, утѣшающим, от того, в чем мы видѣли свои надежды, свое блаженство — Нитше, за себя и за всѣх, значит, и за Гуссерля, безропотно и даже благоговѣйно принял всѣ его требованія. Обоготворил камень, тяжесть, рок, равно как и тяжелую, каменную, роковую мораль. И тут нужно сказать: возвѣщенная Нитше и возведенная им в идеал жестокость отнюдь не есть, как казалось многим, нѣчто совсѣм небывалое в философіи. Только до Нитше никто с такой вызывающей рѣзкостью, опредѣленностью и вмѣстѣ с тѣм с таким сверхчеловѣческим почти вдохновеніем не упивался идеей безпощадной, неумолимой жестокости. Но эта идея цѣликом уже была выработана античной философіей и, как огонь под пеплом, невидимо жила в самых возвышенных построеніях эллинскаго генія. Когда Платон в «Законах» торжественно заявляет, обращаясь к отдѣльному человѣку: «ты сам, жалкій смертный, как ты ни мал — все же ты имѣешь извѣстное значеніе в общем строѣ (бытія)... но ты не думаешь о том, что каждое отдѣльное порожденіе происходит в виду всего (существующаго), чтоб оно жило счастливой жизнью; что ничего не дѣлается ради тебя и что сам

См. «Русскія Записки» — Декабрь.

ты создан для вселенной» — когда он, говорю, заявляет такое, он уже цѣликом предвосхищает Нитше. Послѣдній великій философ Греціи выразил платоновскую же мысль в еще болѣе конкретных и обнаженных словах: убивают твоих сыновей, безчестят твоих дочерей, разрушают отечество — во всем этом нѣт ничего страшнаго и потрясающаго, все это есть и должно быть и, потому, должно быть нами спокойно пріемлемо. Так относится наш разум к «дѣйствительности» и так он ее оцѣнивает, а с разумом спорить нельзя. Правда, Плотин, в концѣ концов, сдѣлал геніальную попытку «взлетѣть над разумом», стать по ту сторону «знанія и разумѣнія». Здѣсь я об этом не могу распространяться — я достаточно говорил об этом в других мѣстах*). Но, поскольку он оставался в колеѣ античнаго мышленія, об'единяя идеи Платона, Аристотеля и стоиков, — и ему приходилось, покоряясь самоочевидности, принимать ужасы человѣческаго существованія, как нѣчто неизбѣжно вытекающее из начал и корней бытія, а потому окончательно и, стало быть, должное и законное. И так продолжается вплоть до наших дней. Всѣ убѣждены, что наше мышленіе должно, как выразился Сенека, безропотно и радостно покоряться тому, что разум открывает в жизни. Послѣднее слово мудрости — и человѣческой, и божеской: fata volentem ducunt, nolentem trahunt. Идея рока, слѣпого, глухого, ко всему безразличнаго рока, безраздѣльно владѣет помыслами всѣх разумных существ. Сам Нитше, так яростно нападавшій на мораль рабов и так восторженно прославлявшій мораль господ, благоговѣйно смирился пред роком. Быть рабом рока, исполнять не за страх, а за совѣсть всѣ его велѣнія, не казалось ему ни позорным, ни страшным. Он открыто и вдохновенно проповѣдует даже уже не покорность, а любовь к року (amor fati) со всѣми его неумолимостями и безпощадностями: наш разум и то знаніе, которое разум приносит, открывают нам истины, непреодолимыя не только для нас, но и для высших существ, для ангелов и богов. Всякая попытка бороться с этими истинами заранѣе обречена на неудачу. Нитше, как и Гуссерль, каждый по своему выразившій эту идею, чувствовали, что тут они неуязвимы: они стоят под защитой самоочевидности.

*) С Гуссерлем мнѣ пришлось лишь раз в бесѣдѣ коснуться Плотина: Но он с той правдивостью, которая так очаровывала в нем, сказал мнѣ: «Плотином я никогда не занимался и знаю о нем лишь то, что вычитал в ваших книгах».

Но, спрошу еще раз, отчего тогда Гуссерль так настойчиво и непреклонно посылал меня к Киргегарду? Киргегард тоже много и часто говорил о рокѣ. И со свойственной ему проникновенностью, точно предвосхищая Гусерля и Нитше, писал, что, чѣм глубже, значительнѣй и геніальнѣй человѣк, тѣм безраздѣльнѣй им владѣет идея рока. Но только, в противуположность Нитше и Гуссерлю, он в этом не усматривает «величія». Трудно, заявляет он, признаться в этом, но приходится сказать, что геніальный человѣк есть величайшій г р ѣ ш н и к. Безусловное довѣріе к разуму, не только когда он берет на себя руководство в эмпирическом мірѣ или в средних поясах бытія, но и тогда, когда событія нашей жизни подвигают нас к окраинам бытія, есть грѣх, есть паденіе, величайшее паденіе, какое можно себѣ представить — о нем же повѣствуется в самом началѣ книги Бытія: человѣк, вкусив от плодов дерева познанія, оторвался от источника жизни. Для нашего разумѣнія это — безуміе. Киргегард это превосходно знает, лучше, чѣм кто-либо другой. Но это «знаніе» его не удерживает. Для него Іов не просто «многострадальный старец», для него Іов — «мыслитель», правда, «частный мыслитель», но такой, от котораго можно услышать то, что не открывалось ни великим представителям современной философіи (Гегелю), ни на блестящих симпозіонах древности: есть такіе вѣсы, на которых человѣческая скорбь оказывается тяжелѣе песка морского. Повторяю — ибо, сколько ни повторять, все мало, — Киргегард превосходно знает власть самоочевидных истин над людьми: он испытал ее, как рѣдко кто, на самом себѣ. И все-же, вдохновляемый Писаніем, он дѣлает грандіозную попытку преодолѣнія самоочевидностей. Самоочевидностям он противопоставляет — как возраженіе — великую человѣческую скорбь и тѣ ужасы, которыми переполнена наша жизнь. Нельзя, конечно, отрицать: не ему одному приходилось стоять с открытыми глазами пред ужасами бытія — и другіе, философы и не философы, бывали в его положеніи. Но тут-то и возникла пред Киргегардом великая и страшная дилемма: п р о д о л ж а т ь л и п о п р е ж н е м у — п р е д л и ц о м у ж а с о в б ы т і я — принимать за послѣднюю и окончательную истину то, что наш разум предлагает, как таковую, или рѣшиться, слѣдуя Писанію, поднять вопрос о компетенціи разума и приносимаго им знанія: мудрость человѣческая есть безуміе пред Господом. Противупоставить

«усмотрѣніям» разума «крики» Іова, «плач» Іереміи, громы пророков и апокалипсиса? Это, скажу еще раз, несомнѣнно — «безуміе». Но развѣ ужасы жизни, открывающіеся тому, кто принужден взглянуть им прямо в глаза — не безуміе? Развѣ Іов со своим страшным опытом, Іеремія, плачущій о судьбѣ своего народа, или даже Плотин, вспоминающій об убитых юношах и обезчещенных дѣвушках, — находятся в предѣлах еще разумнаго? Мы стоим между двумя «безуміями». Между безуміем разума, для котораго обнаруживаемыя им «истины» об ужасах реальнаго бытія есть истины послѣднія, окончательныя, для всѣх обязательныя, вѣчныя истины, и безуміем Киргегардовскаго «Абсурда», который рѣшается начать борьбу тогда, когда, по свидѣтельству нашего разума и его очевидностей, борьба невозможна, ибо она обречена на позорную неудачу. С кѣм идти — с представителями эллинскаго симпозіона, или с Іовом и пророками — какому безумію отдать предпочтеніе? Книга Іова, плач Іереміи, громы пророков, громы апокалипсиса не оставляют сомнѣнія, что ужасы человѣческаго существованія от библейских «частных мыслителей» не были скрыты и что в них было достаточно мужества и твердости, чтоб глядѣть прямо в лицо тому, что принято называть дѣйствительностью. И все же,—в противуположность великим представителям philosophiae perrenis — дѣйствительность с ея ужасами зовет их не к покорности неотвратимому. Там, гдѣ философія, спекулятивная видит конец всяких возможностей и безвольно складывает руки, там философія экзистенціальная начинает великую и послѣднюю борьбу. Философія экзистенціальная не есть рефлексія (Besinnung), «допрашивающая» дѣйствительность и ищущая истины в непосредственных данных сознанія, она есть преодолѣніе того, что кажется нашему разумѣнію непреодолимым. «Для Бога, неустанно повторяет Киргегард, нѣт ничего невозможнаго», — подводя в этих немногих словах итог тому, что до него донеслось из Писанія. Возможности опредѣляются не вѣчными истинами, вписанными мертвой или мертвящей рукой в строй міросданія, возможности во власти живого, всесовершеннѣйшаго существа, создавшаго и благословившаго человѣка. Какіе бы ужасы нам ни открывались в бытіи (повторяю, что никто так не воспринимал их, как пророки, псалмопѣвцы, апостолы), они, вопреки завѣреніям разума, вовсе не обнажают пред нами «истины» и не говорят о том, что их невозможно выкорче-

вать из бытія. Псалмопѣвец восклицает: « De profundis ad te Domine, clamavi ». Из глубины страшнаго паденія и отчаянія человѣк взывает к Господу. От пророков и апостолов мы слышим: «смерть, гдѣ твое жало, ад, гдѣ твоя побѣда?» Они же возвѣщают нам, что Бог печется о всяком живом человѣкѣ и что в послѣднем счетѣ восторжествует не дѣйствительность с ея беззаконіями и неумолимостями, а Бог, который «считает волосы на головѣ человѣка», Бог, который есть любовь, который обѣтует, что отрется всякая слеза. Нечего и говорить, что для нашего разума — вся эта борьба, всѣ обѣтованія и связанныя с обѣтованіями человѣческія упованія — есть вздорная иллюзія и ложь. Закон жизни дается не живым Богом, закон жизни не есть любовь, а вѣчная, непримиримая вражда. Уже великій эллинскій философ «знал», что война есть отец и царь всего. Надо обоготворить не библейскаго Творца, а камень, глупость, ничто. И для обоготворивших камень людей героями будут не тѣ, которые видят начала, истоки и корни всего в любви, а тѣ, которые осуществляют в жизни принцип вражды, не апостолы, не пророки, а Ганнибал, уже с дѣтства дающій клятву вѣчной ненависти к Риму, или Катон с его « caeterum censeo Carthaginem delendam esse » Для разума, преклоняющагося пред очевидностями и допрашивающаго об истинѣ дѣйствительность, — проповѣдь любви у пророков и апостолов есть ребяческая чувствительность, жалкая сентиментальность, безслѣдно растворяющаяся в событіях исторіи, а громы пророков и апостолов — не из тучи, а из навозной кучи. И сказаніе Библіи о грѣхопаденіи перваго человѣка — наивная и пустая выдумка: плоды с дерева жизни не только не уничтожаются, но обусловливаются и предполагаются плодами с дерева познанія. Как провозгласил Гуссерль: разум заявляет, мудрость должна повиноваться. И, если в «откровеніи св. Іоанна» возвѣщается, что Бог не только отрет всякую слезу, но и даст людям вкусить от пладов дерева жизни, какой просвѣщенный человѣк не то, что примет, но согласится серьезно обсудить слова Писанія? Всѣ хотят «знать», всѣ убѣждены, что знаніе несет послѣднюю и окончательную истину — о том, что есть и чего нѣт, о том, что возможно и что невозможно, и против приносимых знаніем истин никто спорить не смѣет. Но как-же Киргегард, к которому меня отослал Гуссерль, рѣшился начать спорить там, гдѣ никто спорить не смѣет? Как рѣшился он бороться там, гдѣ всѣ сдаются на ми-

лость врага? Отвѣт на этот вопрос и будет отвѣтом на обращенный ко мнѣ вопрос Макса Шеллера.

V

Для Гуссерля, как и для Киргегарда, среднія рѣшенія представлялись отказом от философіи. Пред обоими возстала во весь свой исполинскій рост проблема: Entweder-Oder. Гуссерль пришел в отчаяніе при мысли, что наше, человѣческое знаніе есть знаніе условное, относительное, преходящее, что даже такая вѣчная, непоколебимая истина, что Сократа отравили, может поколебаться, что она уже поколеблена и даже не существует для ангелов и богов и что у нас нѣт никаких основаній утверждать, что она не перестанет когда-либо существовать и для нас, обыкновенных смертных. И тут он, с неслыханной, как помнит читатель, мощью и силой поставил свое Entweder-Oder: либо мы всѣ сумасшедшіе — либо «Сократа отравили» есть вѣчная истина, равно обязательная для всѣх сознательных существ. У Киргегарда его Entweder-Oder *) звучит столь же рѣшительно и грозно: либо вѣчныя истины, которыя открывает разум в непосредственных данных сознанія — есть только истины преходящія, и ужасы, которые выпали на долю Іова, или тѣ, которые оплакивал Іеремія, или тѣ, о которых гремѣл в своем «откровеніи» Іоанн, всѣ эти ужасы, по волѣ того, кто создал и вселенную, и людей, вселенную заселяющих, превратятся в ничто, в призрак, как превращаются для проснувшагося в ничто ужасы кошмара, безраздѣльно завладѣвающаго сознаніем спящаго человѣка, — либо мы живем в безумном мірѣ. Под напором воплей, стенаній, плача Іова, Іеремія, Іоанна и всѣх других, для которых «дѣйствительность» превратилась в кошмар, начинает обнаруживаться, что очевидность — о ней же нам Гуссерль сказал, что она не есть голос с неба, — вовсе не так непреодолима и что ея притязанія на непреодолимость не могут быть ничѣм оправданы. Опять таки: сомнѣнія в суверенных правах самоочевидности подсказана Киргегарду Писаніем: человѣческая мудрость, — так сказано там — есть безуміе пред Господом. Не спасает очевидность и закон противорѣчія. В сонном видѣніи,—когда на человѣка надвигается чу-

*) Его первая послѣ диссертаціи большая работа так и называется « Entweder-Oder ».

довище, готовящееся уничтожить и испепелить и его самого, и весь мір, в то время как он сам чувствует себя парализованным, неспособным не то, что защититься, но даже хотя бы пошевелить каким-нибудь членом,—спасеніе приходит вмѣстѣ с противорѣчивым сознаніем, что овладѣвшій человѣком кошмар не есть дѣйствительность, а лишь преходящая одержимость. Сознаніе противорѣчивое, ибо оно предполагает у спящаго истину о том, что состояніе сознанія сновидца не есть истинное, — и стало быть истину, уничтожающую самое себя. Чтоб избавиться от кошмара, нужно отогнать от себя «закон» противорѣчія, которым держатся и всѣ очевидности в состояніи бдѣнія: нужно сдѣлать огромное усиліе и проснуться; оттого философія и есть, как я говорил Гуссерлю, не Besinnung, не рефлексія, которая дѣлает сон непробудным, а борьба (Kampf). В этом — мои основныя возраженія Гуссерлю. В этом же и смысл загадочнаго сказанія «Книги бытія» о грѣхопаденіи перваго человѣка: дереву жизни противоставляется дерево познанія, несущее смерть. Истины, приносимыя знаніем, преодолѣваются человѣческими страданіями.

Знаю, слишком хорошо знаю, как возмущается просвѣщенная мысль современнаго человѣка возможностью таких допущеній. Не только европейская мысль, — мысль отдѣленных от остальнаго міра непроходимыми Гималлаями индусов шла по той же колеѣ, что и европейская. Браманизм и еще в большей степени буддизм, который сплошь и рядом оцѣнивается европейскими истолкователями, как высшее достиженіе индусскаго мышленія, цѣликом держатся на познаніи, опирающемся на очевидности. Нельзя преодолѣть вѣчнаго принципа закономѣрной причинной связи явленій, нельзя положить конец метампсихозу и кармѣ, нельзя измѣнить вѣчной истины, что все, имѣющее начало, должно имѣть конец, — всѣм этим «нельзя» нужно покориться, всѣ их нужно принять и ко всему этому приспособиться. Правда, есть основаніе думать, что западная мысль приладила индусское міровоззрѣніе к тѣм идеям, которыя выросли и развились в ея собственной духовной исторіи. Над индусской мыслью царит идея освобожденія или искупленія, которая имѣет, может быть, иной смысл, чѣм это нам кажется. По преданію сам Будда в предсмертный час повторил, что все, имѣющее начало, должно имѣть конец, — но, вѣдь, он не менѣе страстно, чѣм Іеремія или Іоанн, говорил о человѣческих страданіях: если бы собрать всѣ проли-

тыя людьми слезы, набралось бы больше влаги, чѣм в четырех великих океанах. Не пытался-ли и он, как Іов, сравнивать вѣс песка морского с ужасами человѣческаго бытія? Только счел нужным скрыть это под нежеланіем «теоретизировать»? Здѣсь, конечно, не мѣсто распространяться об этом. Я только хотѣл подчеркнуть, что европейская мысль, зачарованная самоочевидностями, считает себя «возвысившейся» над «откровенной» истиной, для которой человѣческія слезы могущественнѣе, чѣм обнаруживаемыя очевидностями необходимости, и которая возвѣщает, что через слезы, взывающія к Творцу, а не через разум, допрашивающій «данное», идет путь к началам, истокам, к корням жизни.

И в этом отвѣт мой Максу Шеллеру, а вмѣстѣ с тѣм и об'ясненіе, отчего я так необыкновенно высоко цѣню и чту философское дѣло Гуссерля. Он с рѣдким мужеством и со столь же рѣдким — даже у выдающихся людей — вдохновеніем осмѣлился поставить самый существенный, самый трудный, а вмѣстѣ с тѣм самый болѣзненный вопрос о «значимости» познанія. Чтоб познаніе было значимым, нужно признать его абсолютным — и принять все, что оно от нас потребует. Обоготворить камень, принять безпощадную жестокость, самому окаменѣть, отречься от всего, что нам наиболѣе нужно и дорого, как учил, принуждаемый самой истиной, Нитше. Или отбросить абсолютное познаніе, возстать против принуждающей, неизвѣстно по какому праву, истины и начать борьбу с очевидностями, самовольно превращающими ужас эмпирическаго существованія в вѣчные законы бытія. Первое сдѣлал в новое время Гуссерль, второе Киргегард, к которому Гуссерль отослал меня. Приходится, как я уже указал, либо абсолютизировать истину и релятивизировать жизнь, либо отказать в повиновеніи нудящей истинѣ, чтоб спасти человѣческую жизнь. Преодолѣніе, борьба с самоочевидностями есть перевод на философскій язык библейскаго завѣта, если угодно библейскаго откровенія: мудрость человѣческая есть безуміе пред Господом. Гуссерль это чувствовал со всей проникновенностью своего философскаго генія. Оттого он так настойчиво направлял меня к Киргегарду, в котором я, к величайшему изумленію своему, открыл двойник Достоевскаго, поддержавшаго во мнѣ своими писаніями готовность вступить в борьбу с Гуссерлем: кто мог думать, что философ отошлет к своему рѣшительному идейному противнику? что слагавшій гимн разуму и его очевидностям оцѣнил чело-

вѣка, провозгласившаго Абсурд и безпощадную, не на жизнь, а на смерть, борьбу с очевидностями?

Понять и оцѣнить Гуссерля можно, лишь постигнув глубочайшую внутреннюю связь его с Киргегардом. Первый покоряется нудящей истинѣ и видит откровеніе в самоочевидностях разума, второй, с душой, переполненной «страхом и трепетом», идет за откровеніем туда, гдѣ для разума начинается область вѣчнаго ничто. У перваго песок морской перевѣшивает человѣческія муки, у второго человѣческія муки тяжелѣе песка морского. Первый укрывается под сѣнью «parere», вѣчнаго повиновенія, второй рвется к загадочному и таинственному «jubere», забытому человѣческой мыслью. Можно надѣяться, что вызывающія «Entweder-Oder» Гуссерля и Киргергарда реформируют современную мысль, пробудят ее от вѣкового оцѣпенѣнія? Не думаю. Цѣлый ряд выдающихся философов и вышел из школы феноменологіи. И всѣ они отвернулись от Гуссерле - Киргегардских entweder-oder, хотя с молодых лѣт знали и Нитше и Киргегарда. Они предпочли вернуться к старому лозунгу: назад к Канту. К Канту, для котораго Киргегардскій Абсурд знаменовал ту область Schwärmerei und Aberglauben, , которая была ему так ненавистна и от которой он так предостерегал своих читателей; «критику чистаго разума» он предусмотрительно смягчил «критикой разума практическаго». Постулаты Бога и безсмертія души должны успокоить человѣка, потрясеннаго дошедшей до него из критики чистаго разума вѣстью о смерти Бога. Но развѣ эти постулаты пріемлемы для разума? Развѣ разум не относит их без всякаго колебанія к области Schwärmerei и Arberglauben. Двух мнѣній быть не может: самое фантастическое суевѣріе — допустить бытіе Бога или вѣрить в безсмертіе души, все равно называть-ли эти истины аксіомами или постулатами! Расшатать самоочевидности человѣку не дано. Пусть альфой и омегой Писанія будет помѣщенное в самом началѣ В. Завѣта сказаніе о грѣхопаденіи и помѣщенное в концѣ Н. Завѣта обѣтованіе, что Бог даст вкусить человѣку от плодов дерева жизни, — но развѣ не очевидно всякому, что и Ветхій и Новый Завѣт вышли из области фантастики и суевѣрія? Просвѣщенный человѣк никогда не пойдет за истиной к старой, созданной невѣжественным народом, книгѣ, так не согласится он противоставить вопли Іова, плач Іереміи и

громы апокалипсиса соображеніям разума с его очевидностями. Философія не откажется от Канта.

Значит- ли это, что Киргегардо - Гуссерлевскія Entweder-Oder навсегда отвергнуты людьми? Что мы осуждены обоготворить камни и исповѣдывать безпощадную жестокость к ближним, как провозгласил в минуту одержимости разумом Нитше? И что киргегардовскій Абсурд рано или поздно будет с корнем вырван из человѣческаго сознанія? Не думаю. В общей экономіи человѣческаго духовнаго дѣланія попытки преодолѣнія самоочевидностей имѣют свое, хотя и невидимое, не цѣнимое, но огромное значеніе. И я считаю себя безконечно обязанным Гуссерлю, принудившему меня силой своей безудержной мысли начать борьбу там, гдѣ мы всѣ «считаем», что нѣт никаких надежд на возможность побѣды. Но, чтоб бороться с самоочевидностями, нужно перестать «считать». Этому меня научил Гуссерль, против которого мнѣ пришлось возстать, хотя я видѣл и продолжаю видѣть в нем великаго, величайшаго философа новаго времени.

Л. Шестов